

А.В. Дружинин

Стихотворения А. А. Фета

Санкт-Петербург, 1856

Мы предоставляем себе право в скором времени поговорить с читателем во всей подробности о замечательном поэтическом даровании г. Фета, взявши предметом статьи нашей все до этой поры известные публике его произведения. При появлении ныне вышедшего собрания лучших стихотворений этого поэта мы не можем, однако же, не высказать нескольких замечаний, не передать нескольких мыслей, хотя бы в виде введения к будущему труду нашему. Такие книги не часто выходят из типографий, такие поэты не всякий год даются той или другой словесности, хотя бы из числа самых богатых в Европе. Голос добросовестной критики обязан встречать подобные явления как можно своевременнее. Поэтому и мы поднимаем наш негромкий голос, выговаривая себе право снова и снова возвращаться к писателю, который так для нас дорог, — к поэту, доставившему нам надолго столько истинно сладких мгновений.

Признаемся с полной откровенностью — судьба книжки, ныне лежащей перед нами, интересует нас до крайности. Имя Фета давно знакомо всем людям с изящным вкусом, всем дилетантам по части чистого искусства, всем читателям, способным понимать живую поэзию, свободно выливающуюся из души симпатического смертного; но все-таки нам кажется, что большинство нашей публики еще не высказалось относительно поэта нашего. В Англии, в Германии, у нас во время Пушкина книжка, о которой говорим мы, выдержала бы несколько изданий в самое короткое время, так она пленительна и оригинальна, так богата она сокровищами самой ясной, самой благодатной поэзии. А в настоящее время — успех стихотворений Фета есть еще для него дело загадочное. Нет сомнения в том, что книжка разойдется быстро, что она доставит многим людям много наслаждения, но такой результат, лестный для многих даровитых стихотворцев, не покажется нам результатом вполне удовлетворительным. Книжку Фета мы хотели бы ви-

деть расхватанною в несколько дней, изданною вновь и вновь в разных форматах, мы хотели бы встречать ее на всех столах и во всех библиотеках, нам желательно, чтоб ей нашлось место в порт-саке дорожного человека, и в кармане молодой девушки, и на дачном балконе, и в классном пюпитре студента, и в портфеле занятого чиновника. Поэт, способный сказать всякому читателю столько нового, светлого и отрадного, имеет законное право на полное сочувствие со стороны каждого читателя. Для чего преклоняться перед иноземным, если у нас есть свое, может быть, получше иноземного. Если цветистый и напряженный англичанин Альфред Теннисон выдержал десять изданий, то почему же А.А. Фету (принимая в соображение меньшее число читающего класса в России) не иметь десяти изданий. Мы сейчас собирались принять в соображение меньшее число читающей русской публики, сравнительно с английской, мы его и приняли. Если масса покупателей англичан значительно обширнее массы покупателей русских — зато, по нашему полному убеждению, светлое дарование Фета далеко оставляет за собой вычурное дарование Альфреда Теннисона.

Итак, мы боимся, что публика наша может не оценить новой книжки стихотворений г. Фета по достоинству, но поспешим же прибавить к отзыву нашему одно оправдание для русской публики. Не из неразвитости и не из холодности наша публика может не оценить поэта, о котором здесь говорится, — эта самая публика обожала талант Пушкина, раскупала стихи Лермонтова и списывала своей рукой экземпляры комедии Грибоедова. Но не забудем того, что читателей наших — вообще немного шатких и насмешливых — наша критика и журналистика в течение долгих лет усиленно отвращали от сочувствия к делу поэзии. В деле по преимуществу деликатном, в воззрениях тонких по существу своему читатель был запутываем, сталкиваем с прямого пути, развлекаем и заблуждаем. С одной стороны, его заставляли преклоняться перед поэтами, не имевшими никакого поэтического дара, с другой стороны, его сушили неодидактическими теориями, по свойству своему враждебными всякому проявлению искусства чистого. Один журнал возгла-

шал, что публика должна преклониться перед русским Гете, господином таким-то; другой журнал, в то же самое время, опровергал все заслуги русского Гете, именуя его русским Бавием. Там публике говорили, что в деле стихотворства нет середины между всем и ничем, гением и бездарностью, возвышенной дидактикой и газэрством; в другом месте провозглашалась решительная бесполезность стихотворений, даже хороших, даже весьма хороших. Критика сороковых годов, прекрасная в главных своих представителях, но сухо-мертвенная в подражаниях и вариациях, имела слабую сторону в своем дидактическом направлении. Имея много важного дела перед собою, она смотрела на поэзию с исключительной точки зрения, и при всем своем достоинстве не вступалась за нее перед публикою, не защищала ее от шутов и пародистов. Поэтому начинающему и второстепенному не было уголка на русском Пинде того времени. Печальная повесть, при всей бездарности нувелиста, ценилась за мысль, в ней скрытую, но никто не ценил второстепенного поэта за изящную картину, за теплое чувство, за искру небесного света. Никто не давал руки и совета робким певцам, наиболее нуждающимся в помощи и советах. Оттого от суровой школы, обильной дарованиями всякого рода, осталось нам самое малое число поэтов истинных, да и те вполне развились, вполне окрепли только после реакции, возбужденной в их пользу, после того периода, когда наша критика наконец поняла всю нелепость гонения на поэтов. Четыре человека вполне даровитые, говорим мы, остались нам и теперь развиваются свободно, по внушениям музыки, сопутствующей каждому. Мы говорим про г. Некрасова — сильного человека, умевшего слить свою энергическую поэзию даже с недидактикой старого времени, про г. Майкова, неутомимо трудящегося на пользу родной словесности, про г. Полонского, столько лет хранившего свой скромный светильник посреди холодности и невнимания ценителей, и, наконец, про г. Фета, которого оригинальное дарование, приближающееся к дару импровизаторов, или, еще вернее, древних труверов, неспособно пострадать ни от какого литературного направления.

Если поэты сильные и даровитые в былое время как будто уклонялись от значения и звания поэтов, то как же должна была публика смотреть на это значение и это звание. Очарование было разрушено; слово Парнас возбуждало одни смешные мысли; в умах публики поэт представлялся существом бесполезным, без толку болтающим — почти что помешанным. Он обязан был петь превосходно или не петь вовсе: средних терминов не допускалось. Говорят нам, что в игре на скрипке не может быть посредственности, но мы имеем слабость думать, что сам Паганини хотя один день в своей жизни, а играл посредственно. Во всяком новом поющем голосе (а голоса эти являлись реже с каждым годом) публика ждала паганиниевых совершенств, но совершенства сразу не сказывались, и публика переставала слушать, и голоса умолкали при шиканьи остроумных рецензентов. А такие рецензенты являлись сотнями. Действительно, смеяться над поэзией весьма легко и выгодно. Для дельного слова об ученой книге надо знать науку, для разбора сносного романа или повести, не совсем глупой, потребно иметь хоть какой-нибудь эстетический взгляд, но для глумления над стихотворениями требуется лишь бойкое перо и бесовестность перед слабым.

И тут-то стали появляться шутки, фельетонные разглагольствования и советы начинающему деятелю, и насмешки над луною, и дифирамбы о старом времени, когда за удачное стихотвореньице давалась слава, и ребяческое заключение о том, что теперь мы уже не те, о том, что мы серьезные люди, о том, что в душе нашей возникают великие вопросы. Насколько все это вредоносное влияние могло отразиться на публике? Насколько теперешний наш читатель охлажден к делу поэзии? Достаточно ли исправили дело новая реакция против недавнего, ультреального воззрения на стихотворцев и их значение? Участь книги г. Фета будет ответом на вопросы наши. Полагаемся на здравый вкус русской публики, на сочувствие нынешних ценителей литературы и будем ждать результата, не без значительного любопытства.

Вернемся теперь к самому поэту и постараемся по мере сил наших высказать кое-что о значении его произведений. Вся масса читателей после прочтения ныне изданных стихотворений должна разделиться на три разряда. Первый разряд читателей не ощутит никакого удовольствия при чтении и отложит книгу в сторону, но не осудит автора, ибо имя его уже пользуется почетною известностью. Таких читателей мы оставим в покое, не обвиняя их нимало: ежели я могу не любить музыки, если мой сосед холоден к живописи, отчего же приятель мой и моего соседа не имеет права быть холодным к стихотворной поэзии. В подобных случаях лучше всего быть откровенным и не скрывать своих вкусов: понимание хороших стихов не есть еще необходимая принадлежность всякого хорошего человека; наука поэзии есть наука своего рода, в которой мое сердце может не лежать так же, как оно не лежит, например, к химии и механике. Второй разряд, состоящий из людей зорких, развитых и много испытавших, да сверх того просветленных многосторонним литературным воспитанием, отдаст г. Фету всю справедливость, полюбит его вполне, если еще не успел давно к нему привязаться, — к этому разряду, конечно, примкнут лучшие наши литературные деятели и лица, сближенные с понятиями артистического круга. Этому разряду незачем много говорить про Фета: он знает его более нас, любит его еще более, чем мы любим. Остается третий разряд читателей, и разряд самый многочисленный (численность его будет зависеть от успеха книжки ныне появившейся). К третьему разряду подойдут все те читатели, которые, с наслаждением читая поэта нашего, не выяснят себе его значения, не будут в силах охарактеризовать словом того наслаждения, которое они вынесли после чтения. Не одни очень молодые люди, не одни мечтательные девушки, не одни лица, мало привыкшие к чтению, составят этот третий разряд — в него войдут люди очень опытные и искушенные в деле поэзии, и очень глубокомысленные, и очень осторожные. Сам поэт нов и оригинален, муза его глубока и по временам туманна. Над многими стихотворениями Фета надо будет задумываться — тем эти стихотворения и прекрасны. Заметки наши

набрасываем мы для третьего разряда фетовых читателей и почитателей. Им постараемся мы в сжатом виде разъяснить наш собственный взгляд на музу Фета, и, поучая по возможности читателя, мы не прочь поучиться и сами.

Пусть теперь каждое из лиц, с наслаждением прочитавших то или другое стихотворение из новой книжки г. Фета, постарается выяснить себе смысл только что им испытанного наслаждения. С помощью какой силы, с помощью какой особенности наш поэт произвел свое дело, остановил внимание читателя, заставил его сердце биться сильнее? Очевидно, не обилием внешнего интереса, не драматизмом описанных событий – таких достоинств от поэзии не требуется. Равным образом у г. Фета не находим мы ни глубоких мировых мыслей, ни остроумных афоризмов, ни сатирического направления, ни особенной страстности в изложении. Поэзия его состоит из ряда картин природы, из антологических очерков, из сжатого изображения немногих неуловимых очерков, из сжатого изображения немногих неуловимых ощущений души нашей. Стало быть, сердце читателя волнуется от верности этих картин природе, от мастерского исполнения антологических очерков, от умения поэта ловить неуловимое, давать образ и название тому, что до него было не чем иным, как смутным мимолетным ощущением души человеческой, ощущением без образа и названия. Но знает ли человек о том, какую великую роль в его жизни играют мимолетные духовные ощущения, как сильно сплетаются они с его существованием, как крепко помнятся они, как трепещет душа его при каждом о них намеке. Сила Фета в том, что поэт наш, руководимый своим вдохновением, умеет забираться в сокровеннейшие тайники души человеческой. Область его не велика, но в ней он полный властелин, неспособный бояться никакого совместничества. Вдохновение и вера в силу вдохновения, глубокое понимание красот природы, сознание того, что проза жизни кажется прозою лишь для очей непросветленных поэзией, – вот особенности г. Фета, обличающие в нем поэта несомненного, чистого, неспособного к скептицизму или колебанию в своем признании. Сверх того, у поэта нашего есть еще

два драгоценных качества – зоркость взгляда, разгадывающего поэзию в предметах самых обыкновенных, и неотступное упорство в творчестве, не успокоивающееся до тех пор, пока данный и подсмотренный поэтический момент не передан с безграничной верностью. Любопытно следить за тем, как иногда г. Фет относится к поэзии его поразившей, поэзии, просящей воплощения, требующей слов и размера для ее уловления. Он кидается на свой предмет, как орел на добычу, и очень часто схватывает его с первого разу, схватывает вполне, воссоздает его небольшим количеством слов, к которым величайший поэтический гений не сумеет приладить одного лишнего слова. Но иногда дело, по неуловимости предмета, идет иначе. Поэт борется со своей темой, как с упорным противником, пытается передать свои чувства музыкой стиха, смешивает туман с светом и тенью и иногда остается побежденным, но чаще оканчивает свою задачу с беспримерным успехом. Этим-то путем объясняем мы значение фетовой деятельности во всей ее совокупности, обилие прежних стихотворений, слабых по исполнению, еще большее количество других вещей, в которых прелестная поэтическая искра чуть брезжит посреди тумана и нестройного хаоса. Но в книжке, которая теперь лежит перед читателем, нет произведений слабых или недоделанных. Тут видим мы поэта нашего победителем на всех пунктах. Здесь неуловимое является схваченным: поэзия воплощена в гармоническое слово, туманнейшие моменты нашей жизни разъяснены и отделены от тумана. В книге своих стихотворений, ныне изданных, Фет является тем, чем всегда должен быть поэт могущественного дарования, то есть человеком зрячим по преимуществу, истолкователем нашей житейской поэзии.

Взглянувши на все дело с выше показанной точки зрения, мы без труда выясним себе все особенности фетовской поэзии и – мало того – будем способны анализировать самое наслаждение, ею доставленное. Поэт уясняет нам мимолетные порывы собственных сердец наших перед той или другой сценой природы, выговаривает то самое, что мы сами сказать бы хотели. Он дает слово и голос восхитительным грезам давно

забытого детства нашего, он говорит своему читателю (если этот читатель не чужд поэзии): «Вот что душа твоя чувствовала в минуты хандры, в сладкие летние ночи, в зимнюю вьюгу, вот отчего именно билось твое сердце при приближении весны, вот какие черты поражали тебя в степи вечером, на снежной поляне, залитой лунным сиянием. *Я не выдумываю моих напевов, я их угадываю.* Там, где я угадал, твой глаз туманится слезой, и сердце твое бьется сильнее, и поэтические ощущения нагоняют на тебя сладостную дрожь, и весь ты начинаешь порываться к прошлому». И надо признаться, для угадывания тончайших отношений души человеческой к окружающему ее миру, для подсматривания химической связи (просим прощения за метафору) между всем существом нашим и чудесами видимой природы – мы не знаем поэта щедрее одаренного. Мировым, европейским, народным поэтом Фет никогда не будет; как двигатель и просветитель он не совершит пути, пройденного великим Пушкиным. В нем не имеется драматизма и ширины воззрения, его миросозерцание есть миросозерцание самого простого смертного, его вдохновение не выдержит продолжительного напряжения. Но сами эти условия, отдаляя г. Фета от стези поэтов, подобных Пушкину, Шиллеру, Байрону, навеки укрепляют за ним его собственную область, в которой, как мы уже сказали выше, нет у него ни сверстников, ни соперников. Перед лицом вечно спокойной антологической древности, наедине с прелестями природы, под влиянием немногосложных, но нежных ощущений г. Фет – поэт самого высшего разбора. Под стихотворением, которым начинается книжка (*О, долго буду я, в молчаньи ночи тайной*), имя Пушкина не возбудило бы никакого удивления в читателе; мастерской, неслыханно прелестный антологический очерк «Диана» сделал бы честь перу самого Гете в блистательнейший период для германского олимпийца. В нашем отзыве нет и тени преувеличения, хоть не одному читателю он может показаться преувеличенным. Выписываем оба стихотворения в знак того, что не боимся принять на себя полную ответственность за свой отзыв.

1

О, долго буду я, в молчаньи ночи тайной,
Коварный лепет твой, улыбку, взор случайной,
Перстам послушную волос густую прядь
Из мыслей изгонять и снова призывать;
Дыша порывисто, один, никем не зримый
Досады и стыда румянами палимый,
Искать хотя одной загадочной черты
В словах, которые произносила ты;
Шептать и поправлять былые выраженья
Речей моих с тобой исполненных смущенья,
И в опьянении, наперекор уму,
Заветным именем будить ночную тьму.

2

Богини девственной округлые черты,
Во всем величии блестящей наготы,
Я видел меж дерев над ясными водами.
С продолговатыми, бесцветными очами,
Высоко поднялось открытое чело,
Его недвижностью вниманье облегло, —
И дев молению в тяжелых муках чрева
Внимала чуткая и каменная дева.
Но ветер на заре между листов проник,
Качнулся на воде богини ясный лик:
Я ждал — она пойдет с колчаном и стрелами,
Молочной белизной мелькая меж древами,
Взирать на сонный Рим, на вечный славы град,
На желтоводный Тибр, на группы колоннад,
На стогны длинные... Но мрамор недвижимый
Белел передо мной красой непостижимой.

В обоих стихотворениях каждое слово на своем месте, каждая подробность дышит изяществом. Все силы, все средства поэта направлены на один пункт и совокупностью своего действия создают перед читателем картины беспримерно поэтические. Тут нечего заметить, нечего поправить, нечего пожелать даже — и содержание, и картинность, и жизнь, и музыка стиха, и мастерская постепенность речи, и великолепные за-

ключительные строки, все это само просится в память, все это говорит нашему сердцу.

В двух вышеприведенных нами стихотворениях г. Фет берет сцены и моменты, удобные для передачи. Труд его может показаться легким в некотором смысле. Описать прерывистым, страстным стихом ощущения влюбленного юноши посреди молчанья ночи тайной, ясными образами воссоздать впечатление, производимое мраморною статуей Дианы у спящих вод, между зеленью, может поэт не очень тонкого разбора. Сюжеты ясны и не избиты, их поэзия сама просится наружу. Исследуем же манеру господина Фета над задачами более трудными, над темами или прозаическими или приближающимися к общему месту.

Кто, например, из наших поэтов не описывал заката солнца в тихий летний вечер, кто не вдохновлялся видом цветущей степи и не пробовал воссоздавать ясными изображениями ощущений, производимых подобными сценами природы на нашу душу. Для того, чтоб по этой части сказать что-нибудь особенное, надо быть художником по преимуществу. На русском языке мы знаем бесконечное число стихотворений такого рода, между ними несомненное первенство принадлежит отрывку из «Онегина» с описанием Татьянина прихода вечером к домику Евгения. Лермонтов в своем знаменитом стихотворении «Как часто, пестрою толпою окружен» рисует нам изображение не менее пленительное: старый барский сад в час вечерней зари, просвечивающей сквозь листья темной аллеи, в виду пруда, подернутого зеленой сетью трав, и разрушенной теплицы. После подобных бессмертных картин трудно создать что-либо к ним приближающееся. Но г. Фет, всегда чуждый подражания, пробует перенести нас в степь вечером. И он выполняет свою тему блистательным образом:

*Клубятся тучи, млея в блеске алом,
Хотят в росе понежиться поля,
В последний раз, за третьим перевалом
Пропал ямщик, звеня и не пыля.
Нигде жилья не видно на просторе,*

Вдали огня иль песни — и не ждешь!
Все степь да степь. Безбрежная, как море,
Волнуется и наливает рожь.
За облаком, до половины скрыта,
Луна светить еще не смеет днем,
Вот жук взлетел и прожужжал сердито,
Вот лунь проплыл, не шевеля крылом.
Покрылись нивы сетью золотистой;
Там перепел откликнулся вдали,
И слышу я — в изложине росистой
Вполголоса скрипят коростели.
Уж сумраком пытливый взор обманут,
Среди тепла прохладой стало дуть.
Луна чиста. Вот с неба звезды глянут,
И как река засветит Млечный путь.

Перечитавши это стихотворение, ничего не теряющее возле вещей Пушкина и Лермонтова, мы тотчас же увидим и оценим отличительные признаки поэта нашего. Он весь живет моментом, им схваченным, он как бы отрешается от своей личности и воссоздает поразившую его картину, не выпуская из нее малейшей подробности. Пушкин, как художник близкий к гениальности, набрасывает свое создание небольшим числом штрихов неподражаемо верных, а затем оставляет читателя работать своим воображением. Лермонтов вносит свои личные воспоминания, свою собственную поэтическую грусть в строки, о которых мы говорили. Г. Фет, уступая обоим поэтам в ширине кисти, в энергии замысла, восполняет неравенство через группирование и отделку подробностей. Он схватывает все мелкие черты, характеризующие вечер в степи, он упоминает о взлетевшем жуке и о коростелях, скрипящих в росистой ложбине, он прилаживает склад своего стиха к общему тону произведений и результатом своего труда может гордиться по справедливости. Степь вечером залегает в душу читателя и остается в ней навечно.

Несмотря на некоторую неправильность в языке, от которой г. Фет едва ли когда-нибудь отделается, автор нами разбираемой книжки в высокой степени обладает еще одной особен-

ностью, редкою в нынешних поэтах, а именно высокой музыкальностью стиха. Немногие из ныне живущих служителей Аполлона до такой степени разумеют значение музыки слов, немногие умеют выбирать столь удачно размер для своих произведений. В этом отношении наш поэт чуток и тонок. У него есть вещи, бьющие в цель по одной своей музыке. Стихами г. Фета можно зачитываться до головокружения; в них есть нечто обаятельное, звучащее, как струны, волнующее сердце, как изящная музыкальная симфония. Высчитывать стихотворения такого рода было бы слишком долго, ибо мы не знаем стихотворений г. Фета, составленных немusically. Для успокоения совести укажем на вещь «Растут, растут причудливые тени», на «Люди спят, пойдем в тенистый сад», на «Серенаду» (*Тихо вечер догорает*), на романсы «Спи, еще с зарею» и «На заре ты ее не буди», уже положенные на музыку, которая, при всех своих достоинствах, едва ли стоит музыки слов, написанной самим поэтом. Но не можем отказать себе в одном удовольствии — перепечатать одно произведение, менее других замеченное ценителями, но, по нашему мнению, поражающее своей музыкальностью, далеко уходящее за границы, до которых когда-либо добиралась современная поэзия после Пушкина.

Ты спишь один, забыт на месте диком,
Старинный монастырь!
Твой свод упал; кругом летают с криком
Сова и нетопырь.
И стекол нет, и свищет вихорь ночи
Во впадину окна,
Да плющ растет, да устремляет очи
Полночная луна.
И кто-то там мелькает в свете лунном,
Блестит его убор —
И слышатся на помосте чугунном
Шаги и звуки шпор.
И грустную симфонию печали
Звучит во тьме орган...
То тихо все, как будто вечно спали
И стены и орган.

Зная это стихотворение наизусть, перечитывая его множество раз, мы до сих пор не можем еще охладеть к эффекту, им производимому. Это совершеннейшее музыкальное *notturno**, не только рисующее перед нашей фантазией величавую картину развалин, озаренных луною, но еще сверх того уносящее нашу душу в отдаленнейшие области, о которых трудно говорить сухою прозою.

Теперь остается нам встретить г. Фета при самом сильном развитии его творческих способностей. Мы должны проследить за его действиями на уловление неуловимого. Много можно и даже должно говорить об этой способности, много выписок из книги, нами разбираемой, должны бы мы сделать по этому случаю, но времени у нас будет еще довольно, и мы не прощаемся с г. Фетом надолго. Теперь же мы ограничимся только небольшим указанием самых сильных заслуг нашего поэта. Всякий, кто только жил, видел, чувствовал и подстерегал неопределенные порывы своего сердца, обязан приветствовать автора лежащей перед нами книги как поучителя и объяснителя. Каждому из нас, людей не совершенно очерствелых душою, Фет имеет сообщить многое и многое. Ему открыта, ему знакома область, по которой мы ходим с замирающим сердцем и с полужакрытыми глазами, эта область – область поэтических ощущений души человеческой. Наши детские воспоминания, наши детские страхи, наши сладкие ощущения в час занимающегося утра и в темную ночь, озаренную звездами, наши светлые мысли посреди сельского затишья, наши волнения перед свиданием с первою возлюбленною, наши минуты хандры и минуты порывистой веселости – все это олицетворено, высказано, слито с образами и музыкою стиха. Если кто из нас, читая книгу стихотворений г. Фета, ничего не увидит и ничего не припомнит – значит, ему никогда не надо читать стихотворений. Ум отказывается верить, что наш поэт, на таком малом количестве страниц в тоненькой книге с широкими полями мог наговорить нам столько светлого, столько нового, столько не-

* ноктюрн (ит.).

тронутого, столько перечувствованного! Чего нет в его книге, на какие стороны тихой русской поэзии не дает она отголоска? Каких картин не набрасывает перед нами автор, в произведениях коротких и сжатых, иногда немного туманных, иногда кратких до странности! И цель его более чем достигнута. Мы видим перед собою родные снеговые поляны, занесенную снегом ракиту возле ветхой калитки, из которой выбегает гадающая девушка с вопросом: «Как тебя зовут?» – мы присутствуем при народных гаданиях, мы следим за тем, как снеговые поляны тают и разрушаются, как душистая весна начинает веять крылом, мы слышим гром телеги по еще замороженному пути, мы переплываем Днепр в половодье, мы бродим у морского берега, за которым залив раскидывается серебряною ризою. И кроме того, сколько еще картин, сколько еще воспоминаний, сколько еще поэзии, в которой древняя пластика идет следом за германской туманностью, чисто русская картина сменяет страстный лепет, обращенный к Офелии! Г. Фет чувствует поэзию жизни, как страстный охотник чувствует неведомым чутьем то место, где ему следует охотиться. Никакая трудность задачи, никакая тонкость ощущения не пугают поэта нашего, его слово в некотором отношении выше обыкновенного поэтического слова – так метко и далеко оно бьет в свою цель. Люди, хорошо знающие артиллерийское дело, рассказывали нам не раз, что при пробе огромного количества самых обыкновенных ружей, всегда выдается одно такое, которое кидает пулю втрое и вчетверо дальше, чем другие стволы, сделанные на одном и том же заводе, из одних и тех же материалов, – подобные ружья тотчас же приобретаются охотниками и ценятся страшно. На чем основано такое отличие боя, такая фантастическая неправильность? Талант г. Фета во многом напоминает нам оружие, о котором сейчас говорилось: оттого нашего поэта можно изучать, им можно наслаждаться, но подражать ему нет никакой возможности.

Все, сейчас нами сказанное, должно быть подкреплено примерами, и, конечно, за примерами остановки не будет. Покажем же несколько раз, как силен г. Фет в борьбе с неуловимым,

а затем предоставим остальные исследования самому читателю. Вот, например, стихотворение, о котором невозможно не вспоминать в часы лихорадочной бессонницы, в глухую беспокойную ночь, под влиянием смутных ночных грез, иногда налетающих на человека. Содержание вещи сумрачно-неуловимо, как таинственный полумрак между рассветом и утренней мглой, но после стихов, его характеризующих, оно кажется и точным, и понятным, и сейчас только прочувствованным.

Полуночные образы реют,
Блещут искрами ярко впотьмах;
Но глаза различить не умеют –
Много ль их на тревожных крылах.
Полуночные образы стонут,
Как больной в утомительном сне,
И всплывают, и стонут, и тонут;
Но о чем это стонут оне?
Полуночные образы воют,
Как духов испугавшийся пес;
То нахлынут, то бездну откроют,
Как волна обнажает утес...

Какая фантазия и какая правда, какая смелость и какая строгость исполнения! Целая тревожная ночь в этих двенадцати строчках! Теперь возьмем другую ночь и другое ощущение, несравненно отраднейшее. Поэт идет по старому рыцарскому Ревелю ночью после представления Веберова «Фрейшица». Душа его полна впечатлением от оперы; старинные здания, раскиданные по неровной местности, будто теснятся по узким улицам; небеса, посеребренные луною, сверкают над головой, как ясная, неширокая река, и где-то вдали на высоте, на освещенном балконе, раздаются певучие звуки рояля. Все, нами сказанное в прозе, схвачено и пересказано поэтом. Впечатление, им испытанное, без всякой утраты передается душе читателя, и волшебною силою песни перед нами рисуется и старый город, и узкая линия серебряных небес между древними домами, блестящий балкон на воздушной высоте, и звуки музыки

будто к нам доносятся. И собственные воспоминания, выхлынув из глубины души нашей, идут следом за поэзией, навеянную стихотворением. Кто из нас не застаивался ночью, слушая музыку в каком-нибудь старом городе, кто не уходил из театра и не заезжал в гости к Шиллеру, по великолепному выражению Гоголя?

Продолжая обозрение наше, мы невольно придем к стихотворению «Пчелы», одному из самых фетовских во всем собрании. Смело можно сказать, что на русском языке еще не бывало подобного изображения весенней неги, доходящей до болезненности, смутных душевных порывов, не поддающихся даже тени анализа прозаического! Нам кажется, что поэт, написавши подобное стихотворение, не мог не ощутить некоторого недоверия к своей музе — так тонок и неудобовыражаем предмет, им взятый, так оригинальна манера, с помощью которой умел он воплотить в слова все тонкое и неудобовыражаемое в — своей теме. Перечитайте это стихотворение со вниманием, и вы поймете, отчего мы так стоим за звание угадчика поэзии, звание, которое принадлежит г. Фету по преимуществу из числа всех современных нам поэтов, как русских, так и иностранных.

Пропаду от тоски я и лени,
Одинокая жизнь не мила,
Сердце ноет, слабеют колени...
В каждый гвоздик душистой сирени;
Распевая, вползает пчела...
Дай хоть выйду я в чистое поле,
Иль совсем потеряюсь в лесу...
С каждым шагом не легче на воле,
Сердце пышет все боле и боле,
Точно уголь в груди я несу.

Нет, постой же! с тоскою моею
Здесь расстанусь. Черемуха спит...
Ах, опять эти пчелы под нею!
И никак я понять не умею
На цветах ли, в ушах ли звенит.

Много могли бы мы сказать о других произведениях поэта нашего, вдохновленных тем же духом и теми же побуждениями, но мы и так уже позволили себе много выписок. Пусть любители нового в поэзии сами прочитают «Узника», в котором передано восторженное ощущение затворника перед близостью свободы и моря, стихотворение «Постой! здесь хорошо! зубчатой и широкой...», разительно прекрасное по стиху и по теме, которую мы не в силах изобразить прозаическим словом, и порывистый весенний гимн «Уж верба вся пушистая», и «Больного», и стихотворение «Люблю я приют ваш печальный» — проникнутое всей поэзией сельского спокойствия. Многие еще могли бы мы назвать в книге, но г. Фет не нуждается в рекомендациях. Лучше будет, если мы, заключая нашу речь о даровании поэта на передачу неуловимого в жизненной поэзии, кончим нашу рецензию последней выпиской, последним произведением, истинно волшебным по своей силе, оригинальности и стремительности. Хвалить стихи подобного рода почти что непозволительно, анализировать их так же невозможно, как анализировать иной пленительный сон, повергающий человека в восторженное состояние и залегающий в его память на долгие лета. Подобные сны даются раз или два в жизни; подобные стихотворения редко пишутся и самыми могучими поэтами. Это не жизнь и не фантазия, не призрак и не действительность: это восторженная греза, навеянная беспредельной любовью и беспредельным чарованием майской лунной ночи.

Фантазия

Мы одни; из сада в стекла окон
Светит месяц... тусклы наши свечи;
Твой душистый, твой послушный локон,
Развиваясь, падает на плечи.
Что ж молчим мы? Или самовластно
Царство тихой, светлой ночи мая?
Иль поет и ярко так и страстно
Соловей, над розой изнывая?

Иль проснулись птички за кустами,
Там, где ветер колыхал их гнезды,
И, дрожа ревнивыми лучами,
Ближе, ближе к нам нисходят звезды?
На суку извилистом и чудном
Пестрых сказок пышная жилища,
Вся в огне, в сияньи изумрудном,
Над водой качается жар-птица;
Расписные раковины блещут
В переливах чудной позолоты,
До луны жемчужной пеной мещут
И алмазной пылью водометы;
Листья полны светлых насекомых,
Все растет и рвется вон из меры;
Много снов проносится знакомых,
И на сердце много сладкой веры;
Переходят радужные краски,
Раздражая око светом ложным;
Миг еще... и нет волшебной сказки.
И душа опять полна возможным.
Мы одни; из сада в стекла окон
Светит месяц... тусклы наши свечи;
Твой душистый, твой послушный локон,
Развиваясь, падает на плечи.

Подобной высокой, безграничной, волшебной, изумительной поэзии надо искать и искать во всех европейских литературах. Может быть, между читателями найдутся ценители, способные разобрать «Фантазию» по строкам и спросить очень серьезно о том, откуда могли взяться водометы и расписные раковины, светлые насекомые и жар-птица, качающаяся на суку извилистом и чудном. На их замечания и вопросы отвечать невозможно. Тот, кто сам, в свою молодость и в майскую ночь, возле любимой женщины не грезил восторженными грезами, не видал фантастических чудес и призраков поэтического мира, никогда не согласится ни с нашими похвалами, ни с нашими замечками.

Когда-нибудь, в свое время, мы поговорим и о слабых сторонах фетовой поэзии, о некоторой туманности и неправильностях в языке нашего автора, об ухищренном германском элементе поэзии, от которых г. Фет не отрешился еще окончательно, и так далее. Но теперь нам не до погрешностей, тем более, что в них нет ничего положительно вредного таланту. Арабы, говорит нам Карлейль, веселятся в день рождения своих поэтов. Отчего и нам не позволить себе самого светлого настроения перед книжкою, которая делает столько чести русской литературе и русской поэзии.

Примечания

Печатается по: Дружинин А. В. Литературная критика. М.: Сов. Россия, 1983. (Б-ка рус. критики).